

Давид Самойлов
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

Серия «Диалог»

В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920—1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в XX веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов). Состав и композиция «Памятных записок» соответствует авторскому плану; в разделе «Приложения» публикуются другие мемуарные очерки Самойлова и его заметки о литературе разных лет. О работе Самойлова-прозаика рассказывается в предисловии вдовы поэта Г. И. Медведевой. Интерпретации «Памятных записок» посвящено послесловие ординарного профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А. С. Немзера: исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году.

Давид Самойлов

памятные записки





«ПРЕВРАЩАЮСЬ В ПРОЗУ, КАК ВОДА — В ЛЕД...»

Проза поэта — особая область сцеплений. И путь к ней (или его отсутствие) всякий раз окрашен индивидуально.

Д. С. в разговорах о Борисе Слуцком (и с ним самим) так часто восхищался наблюдательностью, точностью и краткостью его прозаических эссе, написанных сразу после войны, так сетовал на упорное нежелание Бориса Абрамовича продолжать столь удавшийся опыт, что в конце концов выходило: не себя ли уговаривал обратиться к прозе, без боязни изменить привычному, обжитому лику стихотворца.

Где-то во второй половине 60-х годов он начал заново оглядываться на уже миновавший и взятый — и человечески, и творчески — «второй перевал». И думать и говорить о том, что «весь опыт не уместится в стихи». Что это было? Хрестоматийное «лета к суровой прозе клонят»? Да. Но не только.

Кончался «моцартианский» период жизни и творчества, ретроспективно, как воспоминание о самом себе, изображенный в стихотворении «Дуэт для скрипки и альтя». Вольная, легкая, непринужденная поступь стиха и поступка еще была и длилась, но уже перестала нравиться. Не другим — себе. Неадекватность томила и предвещала «начало новых перемен». Но поскольку гармонические натуры, к которым принадлежал Д. С., не умеют долго томиться, выход был найден не то чтобы быстро, но естественно, как будто бы он всегда существовал.

Проза начала писаться стихийно, во время пребывания в больнице в 1969 году^[1].

Вроде бы от скуки и досуга; на самом деле — из-за невозможности признать ограниченное обстоятельствами пространство передвижения и общения. Называлось оно словом «клетка» и означало и любую иную житейскую формулу прикрепленности, не равную внутреннему состоянию, вынужденную запертость не обязательно по медицинской надобе.

К той поре стали проступать очертания «клетки», уготованной не для одного Д. С. и куда более душной, чем спертый воздух многоместной больничной палаты. За подпись под письмом в защиту А. Гинзбурга и Ю. Галанскова он попал в проскрипционные списки. Печатные дела, и без того шедшие со скудным скрипом, свелись к нулю: был рассыпан набор «Равноденствия» и отодвинут выход «Дней». Материальное положение было яснее ясного: одни долги, без

близкой возможности с ними разделаться. Весь 1968 год после прошедшего в январе судебного процесса над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым литературное начальство в трогательном единстве с ГБ выстраивало «клетку» для неразумных писателей, подставивших свое благополучие под удар. Надо было решать, как жить и действовать.

Решение Д. С. состояло из двух частей: не уходить в сам- и тамиздат, не порывать связи с читателем стихов и ждать своего часа для продолжения разговора с ним с печатных страниц. Здесь не место более подробно развивать эту тему, продлившуюся на два десятилетия вперед. Важно лишь подчеркнуть, что на едва проклюнувшуюся, еще не оперившуюся прозу выпадала двойная нагрузка: становление замысла и стилистики шло об руку с худшающими, «мутными временами» (определение Д. С.), и вся тяжесть размышлений об исторической судьбе России и русской литературы и своего поколения в ней, не могущих с полнотой и безоглядностью прорваться к читателю в поэзии, добровольно и неминуемо уходила в подводную часть айсберга — прозаические штудии.

Уже у истока проза стала способом свободного высказывания, не сдерживаемого ни внешней, ни внутренней цензурой, ни давлением индивидуальной стиховой структуры, долго (вплоть до «Залива») сохранявшей несущие черты герметичности, лишь частично совпадающие с общепринятым «эзоповым языком». Влияние прозы на стихи в последующие периоды — тоже особый ракурс и предмет отдельного исследования. Хочется сказать только одно: закон обратной связи действовал на протяжении более чем двадцати лет, что писалась проза, с той или иной долей регулярности.

К начальному этапу, куда мысленно возвращаюсь, можно — для краткости — применить строки из стихотворения «Болдинская осень»:

Благодаренье богу — ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине...

Пример Пушкина, бывшего во всем наиглавнейшим мерилом, как бы опрокинут на личные условия — задействованную «клетку». Эта догадка, носившаяся в воздухе, подтверждается записью в дневнике от 29.04.1968: «У Пушкина: “Лучше опала, чем презрение”»^[2].

С 1969 года идет работа одновременно над «Книгой о рифме», стихами, переводами и прозой — предметом нашего внимания. Снова дневник: «Сейчас — время мемуаров. Наверное, это самое интересное, что пишется сейчас» (запись от 7.11.1971).

Спонтанные прозаические взрывы — публицистического, эссеистского и социально-исследовательского толка — продолжались, пока не обрели и мемуарного наклона и не сошлись в магнитном поле единого замысла: «Укреплялся в мыслях о книге опыта» (запись от 10.04.1971). 5.11.1971 там же зафиксировано название — «Памятные записки».

Писание и дальше происходило не в последовательном, хронологическом порядке, который был намечен для построения книги (остался ее план). Важно отметить, что сначала была написана война — основополагающее событие, где становление взгляда на себя, художника и человека, шло рядом с близким познанием народа и размышлениями над российским национальным феноменом.

Привыкание к себе как к прозаику давалось трудно (порой — до отчаяния и неверия в собственные возможности). Дело, однако, подвигалось параллельно с генеральным поиском собственной манеры письма и прозаической конструкции: «Я исходил из скуки: как наскучат факты, переходил к мыслям, и наоборот.

У меня нет истинного дара прозаика изображать факты как мысли и мысли как факты. Потому и нет фактуры прозы» (запись от 13.04.1976).

Эта констатация уже частично обретенного результата точно выражает авторское понятие об устройстве собственной прозы, но сделана в один из моментов упадка духа и на конкретном фоне: читалась рукопись «Сандро из Чегема», с постоянным восхищением природным повествовательным даром Фазиля Искандера, которого Д. С. неизменно высоко ценил именно за это богом данное свойство. К себе же был строг, быть может, чересчур, считал, что божьей искрой как прозаик не отмечен и потому — чтобы достичь профессионализма, неперемного, на его взгляд, условия появления перед читателем в любом литературном жанре, — должен корпеть над рукописью до седьмого пота. «Для прозы нужно терпение», — повторялось, как заклинание, и не только повторялось, но и выполнялось. При нетерпеливости натуры («Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!...») и отлаженном механизме переключения с одного вида работы на другой (от стиха к переводу, от рецензии к

письму), механизме, служившем регулятором настроения, можно только удивляться, как много вышло написанных и неоднократно переписанных глав.

«Памятные записки» вынашивались и осуществлялись для передачи не одного лишь житейского или сугубо литературного опыта. Образы времен — трагических, бурных, суровых, опасных — словом, всяких, выпавших на долю («Мне выпало горе родиться в двадцатом, в проклятом году и в столетье проклятом»), — витали буквально над каждой главой и над каждой страницей. Ранний и прошедший через всю жизнь вкус к истории predetermined и чисто исследовательскую окраску медитативных периодов, от которых сам автор получал несравненно большее удовольствие, нежели от собственно мемуарных пассажей. Вольное воспарение от «фактов» к «мыслям» и их прихотливое чередование похоже на качели, с обязательным возвращением на грешную землю. Ритмическая организация прозы, сложившаяся «на слух», по принципу музыкального произведения, выдает-таки поэта, как ни снижал он «скукой» и отсутствием «истинного дара прозаика» цену своего многолетнего труда. И как ни пытался отделить основное призвание от добровольно взваленной на себя огромной по объему и заданию работы.

Кстати, вся проза располагается между двумя домами: в Опалихе (1966—1974 гг.) и в Пярну (1976—1990 гг.). Видимо, бытовая обстановка, никогда не безразличная для художника, тоже внесла свою лепту в созидание прозаической книги. Жизнь в доме и жизнь в городской квартире — разные вещи, особенно в наше время. Дом располагает к размеренности дня и к неспешным, долговременным планам и замыслам. Дом — ближе к природе, то есть к изначальной основе жизни. Дом — да что там! Дом есть дом. Он заставляет художника посмотреть на себя другими, быть может, толстовскими глазами, не в смысле масштаба, а в смысле устройства писательского труда, такого же извечного, как земля на усадебном участке, и столь же ритмически слаженного, что и погодные и садово-огородные циклы.

Постепенно дом стал восприниматься как убежище — и внешнее, и внутреннее. Что здесь имелось в виду? Всегдашняя далекость от прямого участия в политике (при проживаемости сердцем и умом идейных брожений). Нежелание обслуживать пером сиюминутное состояние общества и участвовать в кампаниях. Неприязнь к поводку,

кем бы он ни был навязан — доброжелательными читателями или ревнителями злобы дня. Уверенность в том, что главное дело художника — творить. Потребность в сбережении душевных усилий для этого главного дела.

Интересно, как разделялись функции прозаического и поэтического материала. Те же самые процессы, которые пристально рассматривались и подвергались анализу в прозе, могли быть лишь декларированы в стихах:

В шестидесятые годы
я понимал шестидесятые годы
и теперь понимаю,
что происходит
и что произойдет
из того, что происходит.
И знаю, что будет со мной,
когда придет не мое время.
И не страшусь.

Это, конечно, не единственный пример взаимообращения тем и вариаций, однако характерный для тех лет, когда стихи все же печатались и в них действовала система штриха и намек, не чуждая вообще манера Д. С. говорить с читателем: он не часто, вне зависимости от возможности быть услышанным, стремился выложить все карты на стол и обнажить в результате способ создания стиха. Другое дело проза: здесь автор как бы берет реванш за добровольную сдержанность поэтической строки, за ее глубоко упрятанный, прикрытый многими смысловыми слоями посыл. Здесь рассказ о себе сопрягается с собеседником, втянутым в развертывание сюжета уже тем, что предугадываются его реакции и сами они становятся вехами дальнейшего движения. Здесь нарушается собственный завет: «Не смей, не смей из глубины доставать все то, что там скопилось и окрепло!». И кладовая памяти — золотого запаса любого художника — раскрывается достаточно щедрой, хотя по-прежнему знающей меру рукой. И если опускаются какие-то звенья, то все из-за того же целомудренного отношения к искусству (и собственному в том числе), из-за прочного чувства — убеждения, что последняя (она же и первая) тайна творения должна храниться в душе художника и больше нигде. Но если сознательно ставятся препоны комфортному, как у себя дома, расположению читателя в творческой мастерской, то в подспудном течении, на уровне композиции, индивидуальный процесс складывания образа проявляется

полнее, естественнее, невольнее, ибо тут он не подвластен самоконтролю и самоодергиванию. Расхождение и слияние тематических нитей, их обрывы, за которыми угадывается пространство, оставшееся «за кадром» и своим гулом подменяющее несказанное слово, музыкальный звук вечности, аккомпанирующий «бренному» рассказу, и, наконец, публицистический пафос, врывающийся в повествование как знак прорастания миновавших времен в день текущий и длящийся и оттого еще не имеющий формы, — вот, в самом первом приближении, направляющие стрелки для вхождения в атмосферу прозы Д. С.

Книга росла вширь и вглубь так же стихийно, как началась, уже при видимой последовательности ее построения. Наряду с биографическими в ней возникали главы-портреты (писателей и друзей) и главы-очерки того или другого времени, а также эссе на отдельные темы. Образцом, с постоянной поправкой на недостижимость, служили «Былое и думы»^[3].

Теперь я думаю, что «Памятные записки» ощущались и мыслились как бесконечная река жизни с бесконечным же охватом событий, лиц и струящейся, неиссякновенной мыслью. Точка поставила смерть.

Главное он все же успел: сказать о времени и о себе и предначертать направление нашего чтения. И вряд ли стал бы переписывать разбросанные по годам тексты, чтобы показаться смекалистее, проворнее и современнее: ведь процесс постижения, окаймленный реалиями и подробностями, а то и прямо вырастающий из них, — не имеет ли он самостоятельного значения? Иначе зачем бы столь явно, в прямом обращении к читателю, в набросках к предисловию упоминалось не только об отсутствии учения, но и о свободе говорения, о героях мысли и обновления. А в конце главы «Дом» — о необходимости воссоздания собственного «я»: «Но для себя я так определяю смысл этой книги: главная мысль моя, главная цель — воссоздание собственного “я”, исследование его опыта и через опыт возвращение к самому себе. Воссоздать собственное “я” и взглянуть на него со стороны. Задача эта не полностью ясна и для меня самого и сформулирована, может быть, очень приблизительно. Точнее — ясно направление, но я не могу предвидеть результата, как нельзя предвидеть, к чему приведет исследование, ибо если результат его заранее ясен, то само исследование не нужно».

Г. Медведева

НАБРОСКИ К ПРЕДИСЛОВИЮ

(О свободе)

I

Приступая к писанию, заранее могу себе признаться в том, что не могу изложить нечто положительное и стройное — политическую концепцию или систему нравственной философии.

Ни того, ни другого я не изобрел, да и рано, видимо, изобретать.

Хотим мы все одного — свободы. Но толком еще не знаем, что такое свобода и как ее к себе и другим прилагать. Потребность свободы у нас есть лишь в воображении, всегдашнем русском воспаряющем воображении, а образцов мы не знаем и ищем их либо глядя назад, либо кося вбок. А по спине у нас все тот же российский холодок — не стоит ли там мужичок с топориком, который тоже по-русски жаждет свободы, но вбок не косит.

Мужичка уже, впрочем, нет. Но холодок все тот же. За спиной стоит некто похуже — молодой, без царя и без бога, длинноволосый, с папироской, хмельной и озлобленный, с гитарой, битник-разбитник, настоенный на «Московской особой», всероссийский жесткоротый дружинник, шаманщик, дом-культурник, танцплощадник, матерщинник, руковерт, футбольщик, хоккейщик, киноплюй, стенописец, будкогадец, на-троишник, на-двоишник, на-одногошник. Стоит не мужик — порождение земли и истории, а наш с вами отпрыск, наше собственное порождение.

Он тоже свободы жаждет. Или власти. Ему все равно.

Какой же свободы мы хотим? И какая нам нужна?

Для России американизм не годится. Мафия вместо партии, и вороватость вместо бизнеса. Еще при нашей бедности. Безнаказанно убивать президента — это еще не достижение.

Когда нет ни политической концепции, ни нравственного уклада, есть одна свобода, необходимая России, — свобода выговориться. Выговориться, отматериться, откричаться, отспориться, отречься.

Только после этого образуется нечто. Привыкшие к молчанию недостойны свободы.

Единственная цель моего писания — выговориться. Свободны говорящие. Ведь речь — это практика мысли.

Учить нам рано. Надо учиться речи.

Выговорилась Россия, пожалуй, дважды. Где-то в 1905-м, вокруг манифеста, и еще в 1917-м, с февраля до октября.

Потом ждала, когда же можно будет высказаться. Право это было как бы завоевано кровью: «Сестры и братья, друзья мои!». И идеалист Пастернак, и циник, продувной, продавшийся барин, прожженный, ни во что не верящий Алексей Толстой поверили: можно будет сказать, высказаться, выразиться, выговориться.

Вот что писал Толстой:

«Народ, вернувшийся с войны, ничего не будет бояться... Китайская стена довоенной России рухнет».

Китайская не рухнула. И русская стоит. Может, пока стоит китайская — стоять и русской.

И не прав был продувной барин. Народ на войне не боялся. А потом опять забоялся.

Стена, конечно, все же рухнула, но недорушилась. Проломы в ней образовались в 1953 году.

И хлынула в эти проломы безудержная речь. Чья? Народа?

Нет. На первых порах выговаривались мы устами веселого, осмелевшего Никиты Сергеевича. Не народ, а он первый осуществил безудержную потребность неконтролируемой речи.

Надо ему отдать справедливость — он первый заговорил.

И вправду, это была первая свобода — свобода выговориться.

Он заговорил. А мы продолжили. Он не разумел. А мы уразумели.

И уже не унять нашей речи.

И не замолкнем, пока не скажем.

Уже такое наболтано, наговорено, на сказано, наплетено, наоткровенничано, что так запросто не расхлебать.

II

Так писал я совсем недавно в предисловии к «Памятным запискам». Но иное время быстро настало, и уже иное желание подвигает меня к писанию.

Высказаться и отругаться — уже высказано и отругано. Теперь уже важно, о чем говорится и кто говорит и как.

Уже не объединяемся мы в ругательстве и в отречении, в неприятии предыдущей жизни, а разделяемся в предвидении, в расчислении будущей нашей жизни. Мы не живем уже прошлым, не живем настоящим, а жадно тянемся к будущему, ибо утонуть может Россия в скуке настоящего.

Недавно в том была суть, что мы заговорили. Но заговорил и отговорил незабвенный Никита Сергеевич, мало кровей путивший диктатор, мир праху его; Пугачев из Центрального Комитета.

Он распрощал нас с пугачевщиной. Пугачевщине уже в России не быть. Не поверим мы уже самозванцам, не поверим власти, пошедшей на власть.

Власти нашей долго еще стоять. И говорению нашему, может быть, придет свой срок. Ну и что же? Раскрылся уже, распустился уже клубочек, спустился уже со стола, и кто захочет его распутать, не запутался бы сам.

Ведь уже не в говорении дело.

Глотку смогут заткнуть нам свинцом, плеткой или голодом. И тогда вновь замолчит Россия.

Одного только не будет. Никто не поверит, что говорящий — враг.

Это и есть самое главное.

У нас всегда — противник власти и несправедливости был враг. У нас всегда жертва власти — был враг.

Врагом нас пугали и в 19-м, и в 20-м, и в 30-м, и в 37-м, и в 48-м, и в 52-м.

Все были — ВРАГ: эсеры, меньшевики, офицеры, дворяне, священники, справные крестьяне, партийцы, коминтерновцы, финны, немцы, татары, балкарцы, космополиты, евреи.

Герои были те, кто боролся с врагом. С любым врагом — с отцом, с братом. Павлик Морозов, отцепродавец, был герой.

Это были герои существующей власти, борцы за нее против власти несуществующей.

Сейчас другое дело. Сейчас не обманешь. Сейчас, глотки заткнув, одного лишь добьются: создадут героев и мучеников.

В молчании этих героев и мучеников больше опасности для власти, чем в любом говорении.

20 миллионов «врагов» не перевернули Россию. Сто тысяч героев и мучеников перевернут.

Их-то и надо бояться власти. Не слова, а молчания из «глубины сибирских руд».

Не хочу сказать, что у нашей власти не было героев. Были.

Были в гражданскую войну, когда эта власть воевала с другой. Были и в эту войну, когда за свою власть воевали с чужой, чуждой и худшей.

Но ведь и они воевали с властью. Нет героев финской войны, польского похода, венгерской резни, чешского преступления. Нет и не будет.

Герои и мученики — против власти, а не за власть. Потому и святы декабристы, что, встав против власти, не умели, да и не хотели взять власть. Так же святы и народовольцы.

Шпионы, тайные агенты и милиционеры-продотрядовцы, каратели и раскулачники никогда не станут героями нации.

Герои мысли и обновления — вот кто нужен России, вот кто и будет ее цветом и гордостью в неблизком, может быть, грядущем.

ЧАСТЬ I

Дом. Квартира. Сны об отце

Василий Григорьевич

Шульгино. Произрастание трав

Из дневника восьмого класса

ДОМ

Я явился на свет в родильном заведении доктора Фези, где-то на одной из Мещанских, 1 июня 1920 года по новому стилю.

— Ну и что? — спросит читатель. И, действительно, из нескольких фактов, отмеченных в первой фразе, какое-то значение имеет лишь тот, что я родился.

Но я издавна мечтал именно так начать эту книгу и, сколько ни думал, ничего лучшего придумать не мог. Хотя сам всегда считал, что важна суть, а не подробности.

Однако, стремясь к сути, мы всегда вынуждены пробиваться сквозь толпу подробностей. И почему-то, минуя подробности, вдруг чувствуем, что суть неуловима и как бы утрачена.

И уж лучше заблудиться в густом лесу деталей, где, аукаясь, услышишь хоть собственное эхо, чем в голой огромной степи, где нет ни единой приметы, ни вехи, где суть одна лишь пустота и огромность.

Если вынести из жизни детали, как мебель из помещения, останется одна кубатура. Ибо какие-то детали всегда имеют отношение к главному. А какие именно — мы не знаем.

Моя мама так часто повторяла, что я родился в заведении доктора Фези, что этот маловажный факт стал для меня чем-то вроде отправной точки самоуважения. Дескать, рожден я не кое-как, не спустя рукава, а под руководством доктора Фези, почтенного пожилого человека, моложавого ввиду всегдашней подтянутости, с маленькими холеными руками и с черной, хорошо подстриженной бородкой, представлявшегося мне почему-то еще в феске и похожим на турка. Может быть, потому, что первым моим детским врачом был доктор Тюрк. И эти две фигуры смешались в моем воображении.

Теперь уже с некоторым облегчением можно написать, что первые беспмятные месяцы я провел на Старой Божедомке (ныне улица Дурова) в квартире Надежды Николаевны Кокушкиной.

О Надежде Николаевне я так часто слышал, в детстве бывал у нее в гостях и потом встречался с ней уже после войны, что хорошо представляю себе быт божедомской квартиры в голодном и холодном 20-м году.

Дочь горничной в дворянско-профессорском доме, Надежда Николаевна, благодаря своей необычайной красоте и замечательным способностям, была взята хозяевами на

воспитание, а потом вышла замуж за их сына, впоследствии медицинского профессора Кокушкина. После революции профессор подался в эмиграцию, по неизвестным мне причинам оставив в Москве молодую и очаровательную жену.

Известно только, что Надежда Николаевна нисколько не пала духом. Женщина общительная, живая, с неистощимым даром рассказчицы и жаждой общения, она устроила у себя нечто вроде литературного салона. В большой кухне вокруг буржуйки собирались по вечерам попить морковного чаю писатели и генералы, принятые на службу в Артиллерийское управление Красной Армии. Генералы эти были вскоре расстреляны, кажется, во время Кронштадтского мятежа, то ли за измену, то ли за верность прежним убеждениям, а скорей всего — так, на всякий случай.

Салон Надежды Николаевны, однако, не был разгромлен. Ей даже удалось спасти от неминуемой кары Петра Ширяева, писателя, примыкавшего в ту пору к левым эсерам. Не последнюю роль в этом спасении сыграли энергия, ум и обаяние Надежды Николаевны.

Ширяев стал ее мужем^[4].

Близким приятелем Кокушкиной был Новиков-Прибой, его уважительно именовали «Силыч». Приходили Брюсов и Аделина Адалис.

Адалис гляделась в зеркало в передней и удовлетворенно спрашивала:

— Правда, я похожа на лошадь или на старого еврея?

Ей было двадцать лет.

А с Брюсовым связана маленькая легенда, будто он однажды взял меня на руки, а я испортил брюки знаменитого мэтра.

Этот факт послужил причиной тому, что я лет до пятнадцати почитал себя учеником Брюсова, а его чуть ли не моим восприемником.

Стихотворение «Юному поэту» я полагал обращенным именно к себе и наивно отвечал:

Ты мне, учитель, даешь три совета,
Первый приму, а с двумя не согласен.

В моих отношениях с Брюсовым, правда, односторонних, были все перипетии общения ученика с учителем, включая восхищение, спор и неблагодарность.

Часто бывал у Надежды Николаевны, а порой и жилал в нашей квартире поэт Иван Рукавишников. О нем слышал я, что, пьяный, укладываясь спать на полу, всегда просил себе под голову подложить Данте, чтобы снились высокие сны.

Рукавишникова я, конечно, не помню. Едва запомнил Вассу, библиотекарку, воспитанницу Надежды Николаевны, — скорее всего за безобразную внешность. А уж дочь ее, то ли от Рукавишникова, то ли еще от кого, и вовсе никогда не видел. Но и с ней у меня связано нечто, о чем сейчас расскажу. Ведь все, что завязывается в детстве, неминуемо имеет свое продолжение. И чего бы я ни коснулся, все длится во мне или возвращается ко мне.

Вот эта история. Я узнал ее осенью сорок первого года.

У девушки был жених. Они расписались накануне его ухода в армию. Первую брачную ночь решили провести за городом, на даче. Ночью немецкий бомбовоз, не пробившийся в Москву, сбросил свой взрывчатый груз куда попало. Бомба угодила вблизи беседки, где находились новобрачные. Оба они погибли. Жестокость войны к любви поразила меня в этой простой истории. Долго каким-то томящим грузом лежала она в памяти, пока не стала стихотворением «Солдат и Марта».

На Божедомке прожил я менее года и своим считаю дом на Александровской площади, угол Бахметьевской (теперь — площадь Борьбы, 15/1).

Дом на Александровской площади угловым своим построением напоминал океанский корабль, носом врезавшийся в шумящий деревьями сад Туберкулезного института. Он как бы плыл по зеленым или желтым колеблющимся волнам листвы, по волнообразным кронам старинного сада, возвышаясь над самыми высокими деревьями.

Из окон шестого этажа я с младенчества видел только зелень садов, курчаво уходящих к Екатерининской, к Самотеке. И вдали маяк Сухаревой башни, а слева, если немного высунуться из окна, — две похожие на красные лады водонапорные башни у Крестовской заставы.

Туда, к Сухаревой, плыл наш дом в морском гуле листвы. Этот гул, этот шум был постоянным звуком в тишине нашей квартиры, и в осенние ночи я и впрямь представлял себе морское плавание.

А на закате бесчисленные стаи галок поднимались с гнезд в окрестных садах и кружились с криком на фоне багряного неба. От этого кружения бывало грустно и тревожно осенью и

почему-то весело весной. А зимой я галок не помню — только их растрепанные гнезда на голых деревьях.

Из кухонного окна тоже виделся сад — запущенный и превращенный в свалку — сад баронессы Корф, бывшей владелицы нашего дома. В том саду — ветхий барский особнячок, полуразрушенный флигель; а дальше — за садом — еще не потерявшие позолоту купола Тихвинской церкви, превращенной потом в москательную лавку, и там — за деревьями и крышами — купола окраинных церквей, прикладбищенских и отдаленных.

Под Пасху отворялись для мытья окна, и из воздуха, из розовато-желтой зари вместе с весенним запахом вступал колокольный звон. Праздничное, необычайное настроение, чувство живого соприкосновения с родным городом приходило тогда — неповторимое ощущение старой, милой, ушедшей Москвы.

Сад баронессы Корф был местом с дурной репутацией, и туда заглядывать было строжайше запрещено. Однако, поборов страх, я изредка пробирался до дальнего забора, до дыры, выходящей на полузастроенную Ново-Суцевскую.

Дом был моим миром, потому что все связи мои и все детские впечатления не выходили за его рамки. Дом был миром, имевшим свои очертания и границы. И как бы противоположностью ему было неосознанное понятие пространства. Пространство было то, что начинается за забором и простирается неизвестно докуда. И дыра — была дырой в пространство и открывалась в никуда. Пробравшись сквозь лопухи, крапиву и битый кирпич, я застывал перед началом беспредельности, опасаясь переступить ее рубеж.

Я только вглядывался в пустыри и в ветхие строения едва видных отсюда кварталов. И вслушивался в долетавшие от Савеловской железной дороги хриплые свистки маневровых паровозов — звуковой знак пространства, до сегодня впечатляющий, манящий и навевающий особую тоску.

Я назвал наш дом кораблем. Он скорее был ковчегом, поспешно населенным в годы потопа сотнями чистых и нечистых пар. Здесь, в величайшей тесноте, перемешивались в виде некой эмульсии все слои и сословия России полустолетней давности — провинция, деревня, Москва, Петроград.

В бывшие буржуазные квартиры набивались со страшной плотностью, утесняя или вытесняя прежних жильцов, буйные ватаги новых постояльцев — демобилизованные красноармейцы, пришлый, перекатный люд, сбежавшая от

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru